

Ханья Янагихара
МАЛЕНЬКАЯ ЖИЗНЬ

Hanya Yanagihara
A LITTLE LIFE

Ханья Янагихара
МАЛЕНЬКАЯ
ЖИЗНЬ

Перевод с английского

Александры Борисенко, Анастасии Завозовой,
Виктора Сонькина



издательство **аст**

МОСКВА

УДК 821.111-31(73)

ББК 84(7Сое)-44

Я60

This edition is published by arrangement with AITKEN ALEXANDER ASSOCIATES LTD. and THE VAN LEAR AGENCY LLC

Художественное оформление и макет Андрея Бондаренко

Янагихара, Ханья.

Я60 Маленькая жизнь : роман / Ханья Янагихара ; пер. с англ. А. Борисенко, А. Завозовой, В. Сонькина. — Москва : Издательство АСТ : CORPUS, 2017. — 688 с.

ISBN 978-5-17-097119-0

Университетские хроники, древнегреческая трагедия, воспитательный роман, скроенный по образцу толстых романов XIX века, страшная сказка на ночь — к роману американской писательницы Ханьи Янагихары подойдет любое из этих определений, но это тот случай, когда для каждого читателя книга становится уникальной, потому что ее не просто читаешь, а проживаешь в режиме реального времени. Для кого-то этот роман станет историей о дружбе, которая подчас сильнее и крепче любви, для кого-то — книгой, о которой боишься вспоминать и которая в книжном шкафу прячется, как чудище под кроватью, а для кого-то “Маленькая жизнь” станет повестью о жизни, о любой жизни, которая достойна того, чтобы ее рассказали по-настоящему хотя бы одному человеку.

УДК 821.111-31(73)

ББК 84(7Сое)-44

ISBN 978-5-17-097119-0

- © Nanya Yanagihara, 2015
- © А. Борисенко, перевод на русский язык, послесловие, 2017
- © А. Завозова, перевод на русский язык, послесловие, 2017
- © В. Сонькин, перевод на русский язык, послесловие, 2017
- © А. Бондаренко, художественное оформление, макет, 2017
- © ООО “Издательство АСТ”, 2017
- Издательство CORPUS ®

Оглавление

I. ЛИСПЕНАРД-СТРИТ	11
II. ПОСТЧЕЛОВЕК	85
III. ПУДРА	203
IV. АКСИОМА РАВЕНСТВА	271
V. СЧАСТЛИВЫЕ ГОДЫ	403
VI. ДОРОГОЙ ТОВАРИЩ	593
VII. ЛИСПЕНАРД-СТРИТ	661
<i>Благодарности</i>	677
<i>Послесловие переводчиков</i>	679

Моему другу Джареду Холту — с любовью

I

ЛИСПЕНАРД-СТРИТ

В одиннадцатой квартире стенной шкаф был всего один, зато за раздвижной стеклянной дверью обнаружился балкончик, и с этого балкончика он видел мужчину, который курил на улице в одной футболке и шортах, хотя стоял октябрь. Виллем помахал ему, но мужчина не ответил на приветствие. В спальне Джуд открывал и закрывал дверь-гармошку стенового шкафа.

— Здесь только один шкаф, — сказал он.

— Ничего, — ответил Виллем. — Мне все равно нечего туда класть.

— Мне тоже.

Они улыбнулись друг другу.

Агентша, сдававшая квартиры в этом здании, вошла следом за ними.

— Мы согласны, — сказал ей Джуд.

Но когда они вернулись в офис агентства, выяснилось, что квартиру им не сдадут.

— Почему? — спросил Джуд.

— Ваш заработок не покрывает арендную плату за полгода, и сбережений у вас нет, — сказала вдруг охладевшая к ним агентша.

Она проверила их кредитную историю и банковские счета и наконец сообразила, что неспроста два молодых человека за двадцать, явно не пара, пытаются снять квартиру с одной спальней на скучном (хоть и все равно дорогом) отрезке Двадцать пятой улицы.

— Может кто-нибудь подписать договор как ваш поручитель? Начальник, родители?

— Наши родители умерли, — быстро ответил Виллем.

Агентша вздохнула.

— Тогда советую вам умерить аппетиты. Ни в одном приличном доме не сдадут квартиру съемщикам с вашим финансовым положением.

Она решительно встала и многозначительно посмотрела на дверь.

Однако, рассказывая об этом Джей-Би и Малкольму, они представили все в комическом свете: якобы дверь квартиры была вся загажена мышинным пометом, мужик напротив чуть ли труссы перед ними не снял, а агентша обозлилась оттого, что Виллем не отвечал на ее авансы.

— Какой идиот захочет жить на углу Двадцать пятой и Второй? — спросил Джей-Би.

Они сидели в “Фо Вьет Хьонг” в Чайнатауне, где собирались на ужин дважды в месяц. “Фо Вьет Хьонг” был типичной тошнливкой — фо здесь был странно приторным, сок лайма отдавал мылом, и по крайней мере одному из них непременно становилось плохо после этих ужинов; но они все равно приходили, по привычке и из-за дешевизны. Здесь давали миску супа или сэндвич за пять долларов, а основное блюдо стоило от восьми до десяти, но порции были огромные, так что можно было половину доесть назавтра или в тот же день перед сном. Один Малкольм никогда не съедал свое блюдо целиком и ничего не брал с собой — закончив есть, он ставил свою тарелку в центр стола, чтобы вечно голодные Виллем и Джей-Би могли доесть оставшееся.

— Ясное дело, мы не *хотим* жить на углу Двадцать пятой и Второй, Джей-Би, — кротко сказал Виллем. — Но выбирать не приходится. Ты же знаешь, у нас нет денег.

— Я не понимаю, почему нельзя все оставить как есть, — сказал Малкольм, гоня по тарелке грибы и тофу под пристальным взглядом Виллема и Джей-Би, — он всегда заказывал одно и то же: вешенки с жареным тофу в густом темном соусе.

— Ты же знаешь, я не могу, — сказал Виллем. За последние три месяца он объяснял это Малкольму раз десять. — Меррит съезжается со своим бойфрендом, так что мне придется свалить.

— Но почему именно тебе?

— Потому что квартиру снимает Меррит! — сказал Джей-Би.

— А, — сказал Малкольм и притих. Он часто забывал то, что казалось ему несущественным, но зато не обижался, когда окружающие выходили из себя от его забывчивости. — Понятно. — Он поставил грибы в центр стола. — Но ты-то, Джуд...

— Я не могу оставаться у вас вечно, Малкольм. Твои родители рано или поздно меня просто убьют.

— Мои родители тебя обожают.

— Это приятно слышать, но если я скоро не съеду, они меня разлюбят.

Малкольм единственный из четверых до сих пор жил дома, и, как любил говорить Джей-Би, будь у него такой дом, он бы тоже там жил. Не то чтобы

это жилище отличалось особой роскошью — оно было запущенным и скрипучим, а Виллем однажды загнал себе занозу, просто проведя рукой по перилам, — но это был большой, настоящий верхне-истсайдский особняк. Сестра Малкольма Флора, на три года его старше, недавно съехала из полуподвальных комнат, и Джуд временно там обосновался. Родители Малкольма собирались превратить эти комнаты в офис литературного агентства, принадлежащего матери, и это означало, что Джуду (которому все равно трудно было преодолевать лестницу) придется найти себе что-то другое.

Само собой разумелось, что они поселятся вместе с Виллемом, они и в колледже жили в одной комнате. На первом курсе они жили вместе все четвером: в их распоряжении была гостиная с бетонными стенами, где стояли письменные столы, стулья и диван, привезенный тетками Джей-Би на трейлере, а также крошечная спальня с парой двухэтажных кроватей. Комнатка была такой узкой, что Малкольм и Джуд, занимавшие нижние койки, могли бы взяться за руки, не вставая. Над Малкольмом спал Джей-Би, над Джудом — Виллем.

— Белые против черных, — говорил Джей-Би.

— Джуд не белый, — возражал Виллем.

— А я не черный, — добавлял Малкольм, не столько всерьез, сколько чтобы позлить Джей-Би.

— Короче, — сказал Джей-Би, придвигая к себе вилкой тарелку с грибами, — я бы пригласил вас пожить со мной, но вы там охренеете.

Джей-Би жил в огромном грязном лофте в Маленькой Италии, где странные коридоры вели в бесполезные тупики причудливой формы или в недокомнаты с недостроенными гипсокартонными стенами. Это жилище принадлежало еще одному их однокашнику. Эзра был художником, причем плохим, но зачем ему стараться, говорил Джей-Би, ему ведь никогда в жизни не придется работать. И ведь не только ему, но и его детям, и детям детей: они будут плодить негодные, непродаваемые, никчемные произведения искусства, а себе покупать лучшие картины, какие только душа пожелает; они смогут приобретать непрактичные огромные лофты в центре Манхэттена и как угодно уродовать их своими архитектурными потугами, а устав от жизни вольных художников — Джей-Би был уверен, что именно так и случится с Эзрой, — просто-напросто пойдут к своему банкиру и получат огромную кучу денег, им четверым таких деньжищ в жизни не видать (ну разве только Малкольму). Пока что, однако, знакомство с Эзрой приносило много пользы: не только потому, что он позволял Джей-Би и другим бывшим соученикам жить у себя — в любое время в разных концах лофта гнездились четыре-пять человек, — но и потому, что он был человек благодушный и щедрый от природы и любил закаты-

вать грандиозные вечеринки с огромным количеством бесплатной еды, алкоголя и наркотиков.

— Погодите-ка, — сказал Джей-Би, опустив палочки. — Я вдруг сообразил: у нас в журнале одна девица сдает квартиру своей тетки. Практически на краю Чайнатауна.

— Почему? — спросил Виллем.

— Может, даже задаром — она не знает, сколько за нее просить. Но хочет, чтобы там жили знакомые.

— А ты можешь замолвить за нас словечко?

— Лучше того — я вас познакомлю! Можете прийти завтра ко мне на работу?

Джуд вздохнул:

— Я не смогу отлучиться. — Он посмотрел на Виллема.

— Не волнуйся, я смогу. Во сколько?

— В обеденный перерыв, наверное. В час?

— Договорились.

Виллем все еще был голоден, но дал Джей-Би доесть грибы. Потом они немного еще подождали: иногда Малкольм заказывал мороженое из джекфрута (единственное блюдо в меню, которое всегда удавалось), откусывал от него раза два, потом откладывал, и Виллем с Джей-Би его приканчивали. Но на этот раз Малкольм не заказал мороженого, так что они попросили счет, изучили его и разделили до последнего доллара.

На следующий день Виллем пришел на работу к Джей-Би. Джей-Би работал в Сохо, в приемной маленького, но влиятельного журнала, который писал об экспериментальном искусстве Нью-Йорка. Это был стратегический выбор: план Джей-Би, как он объяснил однажды Виллему, заключался в том, чтобы завязать дружбу с редактором и стать героем статьи. По его расчету, на это должно было уйти полгода, то есть теперь оставалось еще три месяца.

На работе с лица Джей-Би не сходило выражение легкого недоумения — оттого, что ему вообще приходится работать, и оттого, что никто до сих пор не разглядел в нем уникальный талант. Свои обязанности он выполнял из рук вон плохо. Хотя телефоны не замолкали, он редко брал трубку; когда кто-то из друзей пытался ему дозвониться (мобильная связь в здании была ненадежной), приходилось следовать специальному коду: два звонка, отбой, еще один. И даже в этом случае он мог не ответить — его руки под столом были заняты расчесыванием и плетением прядей волос, которые он доставал из черного мусорного мешка, стоявшего у ног.

Джей-Би называл это “мой волосяной период”. Недавно он решил сделать перерыв в живописи и переключиться на создание композиций из черных

волос. Каждому из друзей пришлось пережить утомительный уикенд, таскаясь за Джей-Би из парикмахерской в парикмахерскую в Квинсе, Бруклине, Бронксе и на Манхэттене, околачиваться снаружи, пока Джей-Би ходил спрашивать владельцев, нет ли для него обрезков, а потом тащить за ним по улицам распухающий по пути мешок с волосами. Среди его ранних вещей была “Булава”: теннисный мячик, который он побрил, разрезал пополам и заполнил песком, а затем намазал клеем и возил по ковру волос туда-сюда, так что обрезки волос качались, будто подводные водоросли; и серия “Насущное” — идея была в том, чтобы покрывать волосами различные бытовые предметы: степлер, лопатку, чашку. Сейчас он работал над масштабным проектом, который отказывался с ними обсуждать, но из отдельных намеков было ясно, что проект предполагает расчесывание и сплетение огромного количества прядей, так что на выходе должна получиться бесконечная веревка из курчавых черных волос. В прошлую пятницу он заманил их к себе обещанием пиццы и пива, чтобы они помогли ему плести косички, а после долгих часов нудной работы стало ясно, что ни пиццы, ни пива не предвидится, и они ушли, разочарованные, но не слишком удивленные.

Им всем до смерти надоел волосяной проект, хотя Джуд — единственный из них — считал, что вещи получаются милые и что когда-нибудь их сочтут значительными. В благодарность за это Джей-Би подарил Джуду щетку для волос, всю покрытую волосами, но потом забрал ее обратно, потому что ему показалось, будто друг отца Эзры хочет ее купить. (Тот щетку не купил, но Джей-Би так и не вернул ее Джуду.) Волосяной проект оказался сложным во многих отношениях: в другой вечер, когда Джей-Би опять каким-то чудом уговорил всех троих прийти в Маленькую Италию чесать волосы, Малкольм заметил, что они воняют. Так и было: запах был не особенно противный, просто резкий металлический душок невымытой головы. Но Джей-Би закатил форменную истерику, обозвал Малкольма негром-расистом, дядей Томом, предателем своего народа, и Малкольм, который сердился крайне редко, но уж если сердился, то как раз на подобные обвинения, встал, вылил остатки вина в ближайший мешок с волосами и ушел. Джуд по мере сил постарался его догнать, а Виллем остался успокаивать Джей-Би. Несмотря на то что эти двое на другой день помирились, Виллем и Джуд продолжали злиться на Малкольма (хотя понимали, что это несправедливо) и в следующий уикенд опять приехали в Квинс и ходили по парикмахерским, пытаясь собрать мешок волос взамен испорченного.

— Как жизнь на черной планете? — спросил Виллем у Джей-Би.

— Черна, — ответил Джей-Би, расплетая очередную косичку и засовывая волосы обратно в мешок. — Пошли, я сказал Аннике, что мы будем на месте в час тридцать. — Телефон на его столе снова зазвонил.

— Не хочешь взять трубку?

— Перезвонят.

Всю дорогу Джей-Би жаловался на жизнь. Пока что он направлял свои чары на старшего редактора по имени Дин, которого они между собой называли ДиЭн. Как-то они втроем были на вечеринке в “Дакоте”, в квартире, принадлежавшей родителям одного редактора, где одна увешанная картинами и фотографиями комната плавно перетекала в другую. Пока Джей-Би болтал на кухне с коллегами, Малкольм и Виллем прошлись по квартире (а где в тот вечер был Джуд? Работал, должно быть), посмотрели висевшего в гостевой спальне Буртинского, увидели знаменитые водонапорные башни Бехеров, которые висели над столом в четыре ряда по пять снимков; огромного Гурски, висящего над низким стеллажом в библиотеке, и, наконец, в хозяйской спальне обнаружили целую стену Дианы Арбус, причем фотографии были развешены так плотно, что оставалось всего несколько сантиметров свободной стены сверху и снизу. Они стояли, восхищаясь изображением двух хорошеньких девочек с синдромом Дауна, позирующих перед камерой в слишком легких, слишком детских купальниках, когда к ним подошел Дин. Это был высокий мужчина, но лицо у него было маленькое, крысиное, рябое и оттого не внушало доверия.

Они представились и объяснили, что они друзья Джей-Би. Дин сказал, что он старший обозреватель и отвечает за все новинки.

— А, — сказал Виллем, стараясь не встречаться глазами с Малкольмом, чтобы тот не рассмеялся. Джей-Би говорил им, что его потенциальная мишень — старший обозреватель, наверняка это он.

— Вы когда-нибудь видели что-нибудь подобное? — спросил он, указывая на работы Арбус.

— Никогда, — ответил Виллем. — Мне страшно нравится Диана Арбус.

Дин застыл, казалось, его мелкие черты собрались в горстку в центре острого личика.

— ДиЭн.

— Что?

— ДиЭн. Ее имя произносится ДиЭн.

Они едва смогли сдержать смех, пока не выбежали из комнаты.

— ДиЭн! — воскликнул позже Джей-Би, когда они пересказали ему этот эпизод. — О боже! Вот же надутый говнюк.

— Но это *твой* надутый говнюк, — сказал Джуд. С тех пор они называли Дина ДиЭн.

Увы, несмотря на все усилия Джей-Би, его цель — стать героем статьи — была так же далека, как и несколько месяцев назад. Джей-Би даже позволил ДиЭну отсосать у него в парилке спортзала, и все без толку. Каждый

день Джей-Би находил повод зайти в редакторский отдел и посмотреть на доску, где вывешивались идеи и планы на ближайшие три месяца, записанные на белых карточках, каждый день он всматривался в секцию, посвященную перспективным молодым художникам, в поисках своего имени, и каждый раз его ждало разочарование. Вместо себя он видел имена всяких бездарей и выскочек, нужных людей или знакомых нужных людей.

— Если увижу там Эзу, повешусь, — говорил Джей-Би, на что остальные отвечали “Еще не хватало, Джей-Би”, или “Не волнуйся, Джей-Би, рано или поздно все получится”, или “На фига тебе это надо, Джей-Би?”, на что Джей-Би отвечал, соответственно, “Думаешь?”, или “Что-то, блядь, не похоже”, или, “Да я уже три месяца своей блядской жизни угрохал на эту херню, и если меня не будет на этой блядской доске, то опять все псу под хвост, как всегда”. “Как всегда” означало магистратуру, возвращение в Нью-Йорк, волосяную серию или жизнь в целом, в зависимости от того, насколько мрачно он был настроен.

Джей-Би все еще продолжал жаловаться, когда они свернули на Лиспенард-стрит. Виллем жил в Нью-Йорке недавно — всего год — и никогда не слышал об этой улице, скорее напоминавшей переулок, в два квартала длиной и в одном квартале от Канал-стрит, однако Джей-Би, выросший в Бруклине, тоже о ней не слышал.

Они нашли нужный дом и позвонили в квартиру 5С. Ответила девушка, голос ее в домофоне звучал прерывисто и слабо, она впустила их в подъезд. Внутри их встретил узкий вестибюль с высоким потолком, стены были выкрашены блестящей, темной, какашечно-коричневой краской — им показалось, будто они на дне колодца.

Девушка ждала их у дверей квартиры.

— Привет, Джей-Би, — сказала она.

Потом взглянула на Виллема и покраснела.

— Анника, это мой друг Виллем, — сказал Джей-Би. — Виллем, Анника работает в отделе дизайна. Она классная.

Аника протянула Виллему руку и пробормотала “очень приятно”, глядя в пол. Джей-Би пнул Виллема по ноге и ухмыльнулся. Виллем не отреагировал.

— Очень приятно, — сказал он.

— В общем, это квартира? Моей тети? Она прожила здесь пятьдесят лет, но теперь переехала в дом престарелых? — Анника говорила очень быстро, она явно решила, что к Виллему надо относиться как к солнечному затмению и ни в коем случае не смотреть прямо на него. Она тараторила все быстрее и быстрее: тетя всегда говорила, что район очень изменился, она

и не слыхала про Лиспенард-стрит, пока не переехала на Манхэттен, как жаль, что квартиру так и не покрасили, но тетя выехала только что, буквально только что, они только и успели, что сделать уборку в прошлые выходные. Она смотрела куда угодно, лишь бы не на Виллема — на потолок (штампованная жестяная плитка), на пол (хоть и растрескавшийся, а паркет), на стены (на которых когда-то висевшие тут картины оставили призрачные следы), — пока Виллем не был вынужден ее вежливо прервать и спросить, нельзя ли взглянуть на остальные помещения.

— Да, конечно! — отозвалась она. — Я тогда вас оставлю. — Однако она продолжала ходить за ними по пятам, торопливо рассказывая Джей-Би про какого-то Джаспера, и как он использует “Арчер” буквально для всего, и разве Джей-Би не кажется, что этот шрифт слишком круглый и вычурный для основного текста? Теперь, когда Виллем повернулся к ним спиной, она не отрывала от него глаз, и речь ее становилась все более и более сбивчивой.

Джей-Би смотрел, как Анника смотрит на Виллема. Он никогда не видел, чтоб она так нервничала, не видел у нее этих девичьих ужимок (обычно она была молчалива и мрачновата, в офисе ее побаивались, особенно после того, как она соорудила у себя над столом сложную структуру в форме сердца из лезвий X-АСТО), но он видел многих женщин, которые вели себя точно так же в присутствии Виллема. Собственно, они все так себя вели. Их друг Лайонел говорил, что, видимо, Виллем в прошлой жизни был валерьянкой, поэтому к нему до сих пор липнут киски. Но в большинстве случаев (хотя и не всегда) Виллем, казалось, понятия не имел, что привлекает столько внимания. Джей-Би как-то спросил у Малкольма, как так получается, и Малкольм ответил, что Виллем просто ничего не замечает. Джей-Би только застонал в ответ, но про себя подумал: раз уж Малкольм, самый ненаблюдательный человек на свете, и то заметил, как женщины реагируют на Виллема, то уж Виллем точно не мог не заметить. Впрочем, позже Джуд предложил другое объяснение: Виллем намеренно не обращает внимания на реакцию женщин, чтобы окружающие мужчины не чувствовали угрозы с его стороны. Это было похоже на правду: Виллема все любили, и он сам старался никого не обижать, так что, возможно, он подсознательно изображал неведение. И все равно это было захватывающее зрелище, и они втроем всегда с удовольствием его наблюдали и потом с удовольствием подшучивали над Виллемом, хотя тот обычно только улыбался и отмалчивался.

— А лифт здесь исправный? — спросил Виллем, внезапно повернувшись.
— Что? — оторопела Анника. — А, да, он довольно надежный. — Ее бледные губы сложились в тонкую улыбку, которая, как догадался Джей-Би —

и живот его свело судорогой от неловкости за нее, — должна была выражать кокетство. Ох, Анника, подумал он.

— А что ты собираешься втаскивать в тетину квартиру?

— Нашего друга, — ответил он, прежде чем Виллем успел открыть рот. — Ему трудно подниматься по лестницам, поэтому важно, чтобы работал лифт.

— А, — сказала она и снова покраснела. — Прости. Да, лифт работает.

Квартира наводила уныние. Прихожая, немногим больше придверного коврика, сразу раздваивалась: направо — кухня (душный и липкий куб), налево — так называемая столовая, в которой можно было поставить разве что складной столик. Половина стены отделяла это пространство от гостиной, где четыре зарешеченных окна выходили на замусоренную улицу, в конце небольшого коридора справа находилась ванная комната с мутными белыми бра и щербатой ванной, и напротив — спальня с одним окном, длинная, но узкая. Там стояли два деревянных каркаса кроватей, один напротив другого, каждый у своей стены. На одном лежал матрас, громоздкий и бесформенный, тяжелый, как дохлая лошадь.

— На матрасе никто не спал, — сообщила Анника. Дальше последовала длинная историю о том, как она сама собиралась сюда въехать и уже купила матрас, но так им и не воспользовалась, потому что вместо этого съехала со своим другом Клементом, и он не бойфренд, а просто друг, господи, что же она за дура, зачем она это сказала. В общем, если Виллему понравится квартира, матрас он может получить бесплатно.

Виллем поблагодарил.

— Что думаешь, Джей-Би? — спросил он.

Что он думает? Он думает, что это просто вонючая дыра. Конечно, он тоже живет в дыре, но он сам так решил, поскольку его дыра бесплатная и деньги, которые уходили бы на аренду, можно тратить на краски, материалы и дурь и еще иногда ездить на такси. Но если бы Эзра надумал брать с него деньги, он бы тут же слинял. Может, у него не такая богатая семья, как у Эзры или Малкольма, но они точно не позволили бы ему выбрасывать деньги на какую-то лачугу. Они бы нашли ему что-то получше или добавляли бы немного каждый месяц, чтобы он жил по-человечески. Но у Виллема и Джуда нет выбора: им приходится пробиваться самим, у них нет денег, и они обречены на жизнь в дыре. А раз так, то эта дыра не хуже любой другой — дешевая, близко к центру, и потенциальная хозяйка уже втрескалась в 50 % потенциальных жильцов.

Так что он сказал Виллему: “По-моему, то что надо”, — и Виллем согласился. Анника испустила восторженный вопль. Еще немного сумбурных обсуждений, и все было решено: у Анники появились жильцы, у Виллема

и Джуда — крыша над головой, а Джей-Би тут же напомнил Виллему, что у него обеденный перерыв и Виллем должен накормить его лапшой.

Джей-Би не был склонен к рефлексии, но в воскресенье в метро, по дороге к матери, он не удержался и поздравил себя со своим везением; он даже испытал нечто напоминающее благодарность: как хорошо, что у него именно такая жизнь и именно такая семья.

Его отец, эмигрировавший в Нью-Йорк с Гаити, умер, когда Джей-Би было три года, и хотя Джей-Би нравилось думать, что он помнит его лицо — доброе, ласковое, с тонкой полоской усов и щеками, которые округлялись, будто сливы, когда он улыбался, — он не знал, помнит ли его на самом деле или просто слишком долго разглядывал фотографию, стоящую на маминном прикроватном столике. В сущности, это была единственная печаль его детства, и та скорее выученная: он рос без отца и знал, что осиротевший ребенок должен скорбеть об утрате. Но по-настоящему он никогда не испытывал этой тоски. После смерти отца мать, гаитянская американка во втором поколении, получила докторскую степень в области образования, одновременно работая учителем в бесплатной школе по соседству, которая была сочтена недостойной Джей-Би. К тому времени, как он стал учиться — по стипендии — в старших классах дорогой частной школы, почти в часе езды от их дома в Бруклине, она уже была директором другой школы на Манхэттене, со специальной программой, и одновременно адъюнкт-профессором в Бруклинском колледже. Про ее новаторские методики преподавания написали статью в “Нью-Йорк таймс”, и хотя Джей-Би никогда не признался бы в этом друзьям, он гордился ею.

Пока он рос, она была вечно занята, но он никогда не чувствовал недостатка внимания, не думал, что она любит своих учеников больше, чем его. Дома была бабушка, которая готовила ему все, что он пожелает, пела ему песни по-французски и каждый божий день повторяла, что он сокровище, гений, главный мужчина в ее жизни. И еще у него были тети — сестра матери, следователь в манхэттенской полиции, и ее девушка, фармацевт, тоже американка во втором поколении (только не с Гаити, а из Пуэрто-Рико); у них не было детей, и они обе относились к нему как к сыну. Сестра матери занималась спортом и научила его ловить и бросать мяч (даже тогда он мало этим интересовался, но позже это оказалось полезным социальным навыком), а ее девушка увлекалась искусством: одно из его самых ранних воспоминаний — как она привела его в Музей современного искусства и он, ошалев от восторга, не сводит глаз с картины “Один: номер 31, 1950” и почти не слышит ее объяснений о Поллоке и создании полотна.

В старших классах ему пришлось слегка перепридумать собственную биографию, чтобы выделиться среди сверстников. Особенно ему нравилось пробуждать неловкость в богатых белых одноклассниках, несколько сгущая краски: вроде как он обычный черный подросток-безотцовщина, у которого мать пошла учиться только после его рождения (он забывал добавить, что это была не школа, а магистратура), а тетка работает по ночам (опять же все думали, что она проститутка, а не полицейский). Его любимая семейная фотография была сделана лучшим школьным другом, мальчиком по имени Дэниел, которому он сказал правду непосредственно перед съемкой. Дэниел работал над серией портретов семей “на самом краю”, и Джей-Би, уже стоя на пороге квартиры, торопливо развеял его представления о тете — ночной бабочке и полуграмотной матери. Дэниел открыл рот, но не смог издать ни звука, и тут к двери подошла мать Джей-Би и велела заходить, нечего, мол, стоять на холоде, и Дэниелу пришлось повиноваться.

Все еще не пришедший в себя Дэниел разместил их в гостиной: бабушка Джей-Би, Иветт, уселась на свое любимое кресло с высокой спинкой, с одной стороны от нее встали тетя Кристин и ее девушка Сильвия, а по другую — Джей-Би с матерью. Но вдруг, прежде чем Дэниел успел сделать снимок, Иветт потребовала, чтобы Джей-Би занял ее место. “Он король в этом доме, — сказала она, не слушая возражений дочерей. — Жан-Батист! Сядь!” Он сел. На фотографии он сжимает подлокотники кресла пухлыми руками (уже тогда он был пухлым), а женщины с обеих сторон смотрят на него с обожанием. Сам же он смотрит прямо в камеру и широко улыбается, сидя в кресле на законном бабушкином месте.

Их вера в него, в его будущий триумф, оставалась неколебимой — настолько, что от этого делалось не по себе. Они были уверены — даже когда его собственная уверенность подвергалась многочисленным испытаниям и ее все труднее было возрождать, — что однажды он станет великим художником, что его картины будут висеть в главных музеях, что люди, которые не дают ему себя проявить, просто не понимают масштабов его дарования. Иногда он верил им и выплывал на этой их вере. А иногда сомневался: если их мнение настолько расходится с мнением всего остального мира, может быть, они необъективны или просто сошли с ума? А вдруг у них нет вкуса? Как может суждение четырех женщин так радикально отличаться от суждения всех остальных? Какова вероятность, что правы именно они?

И все же большим облегчением были эти тайные воскресные визиты домой, где можно наесться вдоволь, где бабушка постирает его вещи, где будут ловить на лету каждое его слово, восхищенно обсуждать каждый набросок. Дом матери был родной землей, тем местом, где перед ним благовеют, где все обычаи и порядки служат ему, его потребностям. И вече-

ром, в какую-то минуту — после обеда, но до десерта, когда они все сидят у телевизора в гостиной и мамина кошка греет его колени, — он смотрит на своих женщин и чувствует, как что-то нарастает в груди. Он думает о Малкольме, о его безупречном интеллектуале-отце, и милой, но рассеянной матери, потом о Виллеме и его покойных родителях (Джей-Би видел их только однажды, на первом курсе, когда друзья съезжали из общежития перед каникулами, и удивился, какие они холодные, какие чопорные, ни в чем не похожие на Виллема) и, наконец, конечно, о Джуде, вообще без всяких родителей (здесь какая-то тайна: они знакомы больше десяти лет и вообще не знают, были ли у Джуда родители, только что все было очень плохо и об этом нельзя говорить), и тут Джей-Би обволакивает теплая волна счастья и благодарности, как будто океан поднимается к его груди. Как мне повезло, думает он — потому что он привык во всем соревноваться со сверстниками и вел вечный счет, — я самый везучий из нас. Но никогда ему не думалось, что он этого не заслуживает или что надо больше трудиться, чтобы выразить свою благодарность; его семья счастлива, если он счастлив, и, значит, единственное его обязательство — быть счастливым, жить так, как хочется, делать все по-своему.

— Как жаль, что семья нам дается не по заслугам, — сказал однажды Виллем под сильным кайфом. Он, конечно, имел в виду Джуда.

— Согласен, — ответил Джей-Би. И он правда был согласен: никто из них, ни Виллем, ни Джуд, ни даже Малкольм, не имел той семьи, которой заслуживал. Но втайне он считал себя исключением: у него была именно такая семья. Он знал, что его домашние — настоящее чудо. И именно этого он заслуживал.

“А вот и мой лучший в мире мальчик!” — восклицала Иветт, когда он входил в дом. И он нисколько не сомневался, что так оно и есть.

В день переезда лифт сломался.

— Черт побери, — сказал Виллем. — Я же специально спрашивал Аннику про это. Джей-Би, у тебя есть ее телефон?

Но у Джей-Би не было ее телефона.

— Ну что ж, — вздохнул Виллем. С другой стороны, что толку писать сообщения Аннике. — Простите, ребята, — сказал он остальным. — Придется по лестнице.

Никто не возражал. Стоял прекрасный осенний день, прохладный, сухой, ветреный, их было восемь человек на довольно умеренное количество коробок и несколько предметов мебели — Виллем и Джей-Би и Джуд и Малкольм, и Ричард, друг Джей-Би, и Каролина, приятельница Виллема, и еще

двое их общих друзей, которых звали одинаково, Генри Янг, и чтобы их различать, одного называли Черный Генри Янг, а другого — Желтый Генри Янг.

Малкольм, который неожиданно оказался неплохим организатором, раздавал всем задания. По его команде Джуд поднялся в квартиру и указывал, что куда ставить. В перерыве он распаковывал крупные вещи и открывал коробки. Каролина и Черный Генри Янг, оба невысокие и коренастые, носили коробки с книгами, поскольку они были удобного для них размера. Виллем, Джей-Би и Ричард таскали мебель. А Малкольм и Желтый Генри Янг носили все остальное. На обратном пути они захватывали с собой коробки, которые Джуд сплющивал, и складывали их на краю тротуара возле мусорных баков.

— Помощь нужна? — негромко спросил Виллем Джуда, пока все распределяли работу.

— Нет, — ответил тот отрывисто.

Виллем следил за тем, как Джуд, медленно и спотыкаясь, поднимался по лестнице, пока он не скрылся из виду.

Они легко все втащили, быстро и без особых приключений, и после еще немного посплохались по квартире все вместе, распаковывая книги и поедая пиццу, а потом все разошлись, кто в бар, кто на вечеринку, и Виллем с Джудом остались наконец одни в своей новой квартире. Вокруг царил хаос, но одна только мысль о том, чтобы начать расставлять по местам вещи, их утомляла. И они медлили, удивляясь, что так быстро стемнело и что им теперь есть где жить, да еще на Манхэттене, и они могут себе это позволить. Они оба заметили, как их друзья вежливо сохраняли невозмутимое выражение лиц, когда входили в квартиру (больше всего всех поразила спальня с двумя узкими кроватями, “как в викторианской психушке” — так Виллем описал комнату Джуду), но их все здесь устраивало: это было их жилье, с двухлетним договором, никто его не отнимет. Они даже смогут откладывать немного денег, и зачем им больше места? Конечно, обоим хотелось красоты, но красоте придется подождать. Вернее, им придется подождать ее.

Они разговаривали, но глаза Джуда были закрыты, и Виллем видел — по тому, как постоянно, словно крылья у колибри, дергались его веки, по тому, как кисть судорожно сжималась в кулак и вздувались вены, зеленые, словно океанская вода, — что ему больно. Он видел по напряженной неподвижности ног, которые покоились на коробке с книгами, что боль невыносима, и знал, что ничего нельзя сделать, чтобы ее облегчить. Если бы он сказал: “Джуд, давай я дам тебе аспирина”, Джуд ответил бы: “Все в порядке, Виллем, мне ничего не нужно”, а если бы он сказал: “Джуд, давай ты приляжешь”, Джуд ответил бы: “Виллем, все в порядке. Не волнуйся”. Так что в конце концов он сделал то, что они все научились

делать с годами, когда у Джуда начинали болеть ноги. Он вышел из комнаты под каким-то предлогом, чтобы Джуд мог лежать неподвижно и ждать, пока пройдет боль, не тратя силы на разговор, не притворяясь, что все в порядке, он просто устал, отсидел ногу, или не придумывая другую нелепую отговорку.

В спальне Виллем отыскал большой мусорный мешок, в который они сложили постельное белье, и застелил сначала свой матрас, а потом матрас Джуда (купленный за бесценок неделю назад у тогдашней девушки Каролины, которая с тех пор стала бывшей девушкой). Он рассортировал свою одежду на рубашки, брюки и белье с носками, отведя каждой категории свою коробку (откуда только что вытащил книги), и засунул коробки под кровать. Одежду Джуда он трогать не стал, а перешел в ванную, где тщательно вымыл все с дезинфицирующим средством, прежде чем раскладывать щетки, пасту, бритвы и шампуни. Раз или два он прерывал работу и заглядывал в гостиную, где Джуд оставался все в том же положении: глаза его были по-прежнему закрыты, руки сжаты в кулаки, а голова повернута так, что Виллем не видел выражения его лица.

Он испытывал к Джуду сложные чувства. Он любил его — тут все было просто, — и боялся за него, и иногда ощущал себя скорее старшим братом и защитником, чем просто другом. Он понимал, что Джуд может жить — и жил — без него, но видел в Джуде нечто такое, то заставляло его остро ощущать собственную беспомощность, и парадоксальным образом от этого еще сильнее хотелось помочь Джуду (хотя тот редко обращался за какой-либо помощью). Они все любили Джуда и восхищались им, но он часто чувствовал, что Джуд подпускает его немного — совсем немного — ближе, чем остальных, и не знал, что ему с этим делать.

Например, боль в ногах: сколько они его знали, у него всегда были проблемы с ногами. Это, конечно, было трудно не заметить: в колледже он ходил с тростью, а когда был моложе (он был совсем юным, когда они познакомились, на целых два года младше их, и все еще рос), мог передвигаться только с костылем и носил ортопедические скобы с ремнями и внешними штифтами, ввинченными прямо в кости, из-за которых у него почти не гнулись колени. Но он никогда не жаловался, ни разу, хотя к чужим жалобам относился сочувственно; на первом курсе Джей-Би поскользнулся на льду, упал и сломал запястье, и всем им запомнилась последующая суета, театральные стоны и вопли Джей-Би, и как целую неделю после того, как ему наложили гипс, он отказывался выходить из лазарета, и его навещало столько народу, что в конце концов о нем напечатали статью в университетской газете. В их общезитии был парень, футболист, который как-то порвал мениск и утверждал, что Джей-Би просто не знает, что такое боль, но Джуд

ходил к Джей-Би каждый день, так же, как Виллем и Малкольм, и Джей-Би получал от него полную меру сострадания.

Однажды ночью, вскоре после того, как Джей-Би наконец соизволил выписаться и вернуться в общежитие, чтобы уже там окружать себя всеобщим вниманием, Виллем проснулся и обнаружил, что комната пуста. В этом не было ничего особенно необычного: Джей-Би был у бойфренда, а Малкольм теперь по вторникам и четвергам ночевал в лаборатории, поскольку в этом семестре слушал курс астрономии в Гарварде. Виллем и сам часто ночевал где-то еще, обычно в комнате у своей девушки, но она подхватила грипп, и в этот раз он остался дома. А Джуд всегда был на месте. У него никогда не было ни девушки, ни бойфренда, он всегда спал здесь, на нижней койке, под Виллемом, его присутствие было неизменным и знакомым, как морской пейзаж.

Виллем сам не знал, что заставило его слезть с койки и встать посреди комнаты, сонно оглядываясь по сторонам, словно Джуд мог лазать по потолку, как паук. Но потом он заметил, что нет костыля, и стал искать Джуда в гостиной, негромко окликая его, а после вышел из их блока и пошел по коридору к общей ванной. После темноты комнат свет в ванной казался тошнотворно ярким, флуоресцентные лампы издавали непрерывное гудение, и он был так дезориентирован, что почти не удивился, увидев, что из-за двери последней кабинки торчит нога Джуда и кончик костыля.

— Джуд? — прошептал он, стуча в дверь кабинки, и когда ответа не последовало, добавил: — Я вхожу. Он распахнул дверь и обнаружил Джуда на полу; одна его нога была согнута и подобрана под живот. У головы разлилась лужица рвоты, рвота оранжевым пунктиром присохла к губам и подбородку. Глаза были закрыты, он был весь в поту и сжимал край костыля с судорожной силой — позже Виллем узнал, что так он делает, когда ему особенно худо.

В тот момент, однако, в растерянности и испуге, Виллем стал задавать Джуду вопрос за вопросом, хотя тот был не в состоянии отвечать, и только когда он попытался поднять его на ноги, Джуд закричал, и Виллем понял, какую страшную боль тот испытывает.

Кое-как он поднял его и поволок в комнату, неумело привел в порядок и уложил в постель. К тому времени худшее было позади, и когда Виллем спросил, не надо ли позвать врача, Джуд отрицательно помотал головой.

— Джуд, слушай, — негромко проговорил Виллем, — ты же болен, надо обратиться за помощью.

— Мне ничего не помогает, — сказал Джуд и снова замолчал на мгновение. — Просто надо подождать.

Его голос звучал слабо, с придыханием, и казался чужим.

— Что я могу сделать? — спросил Виллем.

— Ничего, — ответил Джуд. Они помолчали. — Но, Виллем... ты можешь побыть со мной еще немного?

— Конечно.

Джуд дрожал, словно в ознобе, и Виллем снял одеяло с собственной кровати и накрыл его. Чуть позже он нашел под одеялом руку Джуда и расцепил его кулак, чтобы сжать влажную жесткую ладонь. Он очень давно не держал за руку мужчину — с тех пор как оперировали его брата — и был удивлен, какой сильной оказалась рука Джуда, какие у него мускулистые пальцы. Еще несколько часов Джуд содрогался в ознобе, стуча зубами, и в конце концов Виллем прилег возле него и заснул.

На следующее утро он проснулся в кровати Джуда; рука ныла, на тех местах, куда впивались его пальцы, остались синяки. Он встал, нетвердо держась на ногах, и вошел в гостиную, где Джуд читал что-то за своим столом; черты его были неразличимы в ярком утреннем свете. При появлении Виллема он встал, и некоторое время они просто молча смотрели друг на друга. — Виллем, прости, пожалуйста, — сказал наконец Джуд.

— Джуд, тут не о чем говорить.

Ему казалось, что это очевидно, но Джуд снова и снова повторял “Прости, прости”, и сколько бы Виллем ни убеждал его, что просить прощения совершенно не за что, тот не унимался.

— Пожалуйста, не говори Малкольму и Джей-Би, ладно?

— Не скажу, — пообещал Виллем и сдержал свое слово; впрочем, в конечном счете это не имело значения, поскольку со временем Малкольм и Джей-Би тоже столкнулись с этими его приступами боли, хотя такие длительные приступы, как в ту ночь, случались всего несколько раз.

Он никогда не обсуждал это с Джудом, несмотря на то что в последующие годы видел, как его мучают самые разные виды боли: сильная боль и легкая; он видел, как Джуд кривится от мимолетного приступа, а иногда, когда накатывало особенно сильно, видел, как Джуда рвет, или как он опускается на пол, или просто отключается и ни на что не реагирует, как сейчас в гостиной. Виллем привык держать слово, и все-таки какой-то частью сознания он сам удивлялся, почему никогда не говорит об этом с Джудом, почему не заставит его рассказать, что он чувствует, не смеет сделать то, что сотни раз подсказывал ему инстинкт: сесть с ним рядом, растереть ему ноги, постараться промассировать, унять эти обезумевшие нервные окончания. Вместо этого он прячется в ванной, пытается занять себя уборкой, когда в нескольких метрах от него один из ближайших друзей сидит на безобразном диване и медленно, мучительно, одиноко возвращается в сознание, и никого нет с ним рядом.

— Трус, — сказал он своему отражению в зеркале над раковиной. На него глядело лицо человека, который устал чувствовать отвращение к самому себе. В гостиной по-прежнему стояла тишина, но Виллем осторожно подошел к порогу, ожидая, когда Джуд вернется к нему.

— Вонючая дыра, — сказал Джей-Би Малкольму, и хотя он был прав — от одного только подъезда волосы вставали дыбом, — но все-таки Малкольм вернулся домой в печали, в который уже раз спрашивая себя, не лучше ли жить в собственной вонючей дыре, чем оставаться в родительском доме.

Конечно, если рассуждать логически, глупо что-то менять: зарабатывает он мало, работает много, дом родителей так велик, что теоретически он мог бы и вовсе с ними не встречаться. Он занимал весь четвертый этаж (который, честно говоря, выглядел немногим лучше вонючей дыры, такой там был бардак — мать давно уже не посылала туда домработницу, после того как Малкольм наорал на нее, утверждая, что Инес сломала один из его макетов) и, кроме того, мог пользоваться кухней, стиральной машиной, мог читать все газеты и журналы, которые выписывали родители, раз в неделю мог сунуть свою одежду в матерчатый мешок, который мать завозила в химчистку по дороге в офис, а Инес забирала на другой день. Конечно, гордиться тут было нечем: ему двадцать семь, а мама все еще звонит ему на работу, делая покупки на неделю, и спрашивает, хочется ли ему клубники и предпочтет ли он на ужин форель или леща.

Было бы легче, если бы родители соблюдали проводимые им границы времени и пространства. Однако они ожидали ежедневного совместного завтрака, совместного обеда по воскресеньям, а также нередко являлись с визитом к нему на этаж, одновременно стуча в дверь и открывая ее, что, как не раз говорил им Малкольм, лишало стук всякого смысла. Он знал, что думать так — черная неблагодарность с его стороны, и все же ему иногда не хотелось идти домой из-за неизбежной светской беседы, которую ему придется пережить, прежде чем он ускользнет к себе наверх, словно подросток. Он с ужасом думал о том, что теперь в его доме не будет Джуда; хотя подвал был более уединенным помещением, чем четвертый этаж, родители усвоили манеру заходить в гости и туда, так что иногда, спускаясь повидаться с Джудом, Малкольм заставал у него отца — тот обычно вещал о чем-нибудь очень скучном. Отец особенно привязался к Джуду и часто говорил Малкольму, что Джуд — человек по-настоящему высокого интеллекта, в отличие от других его друзей, которых он считал пустозвонами, — но теперь ведь ему, Малкольму, придется выслушивать бесконечные рассказы о рынках и глобальных финансовых сдвигах, а также о дру-

гих абсолютно безразличных ему вещах. Иногда он подозревал, что отец предпочел бы такого сына, как Джуд: даже юридическое образование они получили в одном и том же месте. Джуд начинал референтом у того же судьи, который в свое время был наставником отца на его первой работе. А сейчас Джуд стал помощником прокурора в уголовном отделе федеральной прокуратуры, где отец служил в молодости.

“Попомни мои слова, этот мальчик далеко пойдет” или “Скоро он будет настоящей звездой, а ведь всего добился сам”, — то и дело объявлял отец Малкольму и жене с весьма самодовольным видом, будто он как-то приложил руку к талантам Джуда, и в эти минуты Малкольм старался не встречаться взглядом с матерью, поскольку знал, что увидит на ее лице сочувствие.

Если бы Флора по-прежнему жила дома, было бы легче. Когда она собралась съезжать, Малкольм хотел предложить ей вместе снимать облюбованную ею двухкомнатную квартирку на Бетун-стрит, но она то ли искренне не понимала его многочисленных намеков, то ли не хотела понимать. Она была готова уделять родителям то несуразное количество времени, которого они требовали от своих детей, и он подолгу оставался у себя наверху, работая над своими макетами, и реже спускался вниз, где приходилось, ерзяя, смотреть нескончаемые европейские короткометражки, которые так любил отец. Когда Малкольм был моложе, его задевало, что отец явно предпочитает ему Флору — это было очевидно, даже друзья нередко подшучивали по этому поводу. “Фантастическая Флора”, так отец называл ее (и еще, на разных этапах ее взросления, “Фасонистая Флора”, “Флора-Фрондер”, “Флора-Фу-ты-ну-ты”, но это всегда звучало одобрительно), и даже сейчас, когда Флоре было почти тридцать, он относился к ней все с тем же умилением. “Фантастическая Флора отлично сострила сегодня”, — сообщал он за ужином так, словно его жена и сын не видели Флору сто лет. Или после бранча поблизости от ее квартиры: “Зачем наша фантастическая дочь уехала так далеко от нас?”, хотя до нее можно было добраться на машине за 15 минут. (Это особенно бесило Малкольма, поскольку отец вечно рассказывал ему цветистые истории о том, как он ребенком переехал с Гренадин в Квинс и с тех пор вечно разрывается между двумя странами, и добавлял, что Малкольму тоже нужно уехать и пожить где-то экспатом, потому что это обогащает его как личность, позволит по-новому взглянуть на мир, и так далее, и так далее. Но Малкольм не сомневался, что, если бы Флора вздумала переехать в другой район, не говоря уж о другой стране, отец бы этого не вынес.)

У Малкольма не было прозвищ. Иногда отец звал его по фамилиям других — знаменитых — Малкольмов: “Икс”, или “Макларен”, или “Макдауэлл”, или “Маггеридж” (в честь последнего его предположительно

и назвали), но это всегда звучало не как ласка, а как упрек, напоминание, кем он должен быть стать, но явно не стал.

Иногда — даже часто — Малкольм говорил себе, что хватит уже расстраиваться и дуться: ну не нравится он собственному отцу, что ж поделаешь. Даже мать ему это говорила. “Ты знаешь, папуля не хотел сказать ничего плохого”, — увещевала она его время от времени, после того как отец произносил очередной монолог о превосходстве Фантастической Флоры, и тогда Малкольм, разрываясь между желанием верить ей и раздражением от того, что она называет отца “папулей”, бормотал в ответ что-то в том смысле, что ему плевать. А иногда — все чаще и чаще — он ругал себя, что вообще так много думает о родителях. Нормально ли это? Нет ли в этом чего-то жалкого? Ему двадцать семь, в конце концов! Это так у всех, кто живет дома? Или с ним одним что-то не так? Веский аргумент, что пора переезжать: он перестанет быть таким младенцем. Иногда вечерами, когда родители этажом ниже укладывались спать — старые трубы шумели, пока они умывались, потом наступала внезапная тишина, когда они выключали батареи в гостиной, и все эти звуки лучше всяких часов отсчитывали время: одиннадцать, полдвенадцатого, двенадцать, — он мысленно составлял список тех проблем, которые ему нужно решить в ближайший год, без промедления: работа (ничего не происходит), личная жизнь (не существует), сексуальная ориентация (не определена), будущее (в тумане). Эти четыре пункта оставались неизменными, хотя их расположение по важности могло меняться. Также неизменной оставалась его способность поставить точный диагноз вместе с абсолютной неспособностью найти выход.

На следующее утро он просыпался, полный решимости: сегодня уедет из дому и скажет родителям, чтобы оставили его в покое. Но, спустившись вниз, он видел мать, она готовила ему завтрак (отец к тому времени давно был на работе) и говорила, что собирается сегодня покупать билеты на Сен-Барт, куда они ездили каждый год, и просила решить, на сколько дней он к ним присоединится. (Родители все еще оплачивали за него эти поездки. Он никогда не упоминал об этом в разговорах с друзьями.) “Да, мам”, — говорил он. А потом завтракал и выходил в большой мир, где никто не знал его и где он мог быть кем угодно.
